

Встретился на перекрестке прохожий, ничего он не спросил: всё понятно, кто такие люди, куда и откуда они плут, с какими грузом. Люди несли на руках, на плечах, в глазах самое великое, самое светлое свое знание — выстраданное, опытное кровью, вызванное, вымечтанное счастье, радость возвращения на родную землю, отпущенную от врага.

ПОЛЕСЬЕ, 10 декабря. (По телеграфу от наш. корр.).

В Полесской пуще

В тяжелые дни осени тысяча девятьсот сорок первого года, в дни разлуки с Красной Ариной десятка, сотни деревьев — Ладесья — Черная Рудня, Зеленая Рудня, Мокрая Рудня, Сухая, Белая, Горная, Веселая Рудня, Старая Рудня — сливаясь с веками населенных мест, ушли в пушу под защиту болот, вечных суховер, ушли в глухие лебры, в непериступные зерныше глездз, в об'ятия сумрачной природы, ушли, но не покорились вразгу. Появились в дремучей пуше люди, и зазвенели их голо-сы, зашлепал дружный колхозный труд, и гиблые эти места стали неузнаваемыми. Все поляны недалеко от табора, откры-тые небу, обогреваемые солнцем, были распаханы, засеяны рожью, картофелем и пшеницей колхоза.

Олимпиада жет со дня рождения колхоза «Заря» был его председателем Андрей Боробуля. Он привел людей к тому, что они перешли с той же землей Полесья получать по пяти килограммов зерна на трудодень. Осенью 1941 года Андрей Боробуля увел «Зарю» в неприступную пущу. Зимой ушел он в партизаны, весной был убит в перестрелке. Привезли его домой в «Зарю», положили в землю, и мертвым он продолжал жить среди живых.

Мы стоим у могилы Андрея Бороぶзи с его братом и преемником Степаном Бороぶзей. Простой земляной холмик, обложенный вечно живым зеленым шибением покровов, дубовая доска с выжженными буквами: «Здесь покинута прах борца за людское наше счастье — Андрей Герарович Бороぶзи...». Идем по табору. Морщинистая женщина сидит у костра, поет, лелеет, это — бабушка Гарпина, мать Бороぶзи. Двухлетний полуодетый мальчик бросает в огонь сухие ветки и смеется. Яркоглазый ребенок не видел пепла, но он с молоком матери впитал в свое сердце ненависть к немцу.

Посредине табора в яме с покатыми краями, накрытой железными листами, стоит у горна, посылает песок на каменный довел лемех плуга Иван Карась —

Кузнец, не отдавший в немецкую Новолу
свой огонь.

Поляна с вытоптанной до земли сердцевиной, травянистая, по краям схваченная декабрьской бесснежной изморозью. Двойной ряд распущенных шишопов расстелен на гоку. Аннушка, Махора, Аксютя, Наташа, Феня, Васислава — девушки-невесты молят цепями хлеб.

Молча работает золотистоголовая, рознокожая, титая, словно выросшая из сказок Фея. Как, наверное, будет счастлива тот человек, на кого поднимет она глаза, кому доверчиво улыбнется, с кем заговорит. Глаза немца не видели сказочной красоты Феи, не видели хрупкого и румяного Аннушки, курявой голызи Махоры, чистоглазой Наташи, не слышали поуголкомной песенки «Ахситы». В зеленую тыну леса, в дщри Полеского пущи увесел они свою красоту и радость молодости, смех, песни, девичьи заспк, любовь п'назжм.

Переговариваются грабные, крепче
кемля, молочные пены в руках тру-
жени. Шуршат, осматривают сыны, за-
летают под солнцем россыпи благородной,
взлелеянной на белой, художесной почве
Полесья, пшечины. Не видели тебя, ко-
рня, немы, не пекли из тебя ни хле-
ба, ни пирога, ни для калес твоих, ни
одно зерно не побывало в маленькой нево-
ле. Наша ты, первозданная, чистая.

Где-то гулко загремели колеса по за-
скошней дороге, из темной чаши леса на
поляну выехала телега полная снопов.

— Как дело, девчонки? — ласково проговорил возница, вытирая запотевшую лошадь пучком соломы и накрывая ее дерюгой.

У Харитона чистая, волосок к волоску, белоснежная борода. В глазах его плясает перушиное, лукавое, шепрое солнце. Печни не видны, не осыренили своим взглядом чудесную русскую бороду Харитона, не надругались над его тихой, веселой старостью. Доброта и любовь, как

сок, выступают из его улыбочных губ,
из морщин, из взгляда, словом, из всего,
что он делает.

— Притомилась, девоньки, ну-ка, Макара, отстранись, хлебни отдохну!

Дед Харитон вжался у девушки темный, отполированный в работе двухтабачный щип, крякнул, охнул, замаянчился — и замаялело в левых руках допотопное крестьянское орудие.

В глубине лесного табора в нежных
шаталах хранятся сотни основных де-
ревных и оловянных рам, напильников, дубовых
палок, березовых брусков, — всё это дело
рук старика. Два года прошло с тех вре-
мя, как в Полесье возмужали немцы, но труд-
ятся старик, концы свои издевает. В бу-
дущей деревне Веселая Рудня все люди,
потерявшие свой старый кров, будут смотреть
в окна, входить в двери и обзаводить
за столами, сидеть на лавке, снимать на
кровати, которые сделаны собственными
руками. Старик тщеславен безмер-
но, ему б хотелось и всю деревню от фунда-
мента до труб построить собственными
руками, жалко, на всё хватает рук.

Может быть, никогда еще душа ползших людей не раскрывалась с такой полнотой, как теперь, в эти суровые дни борьбы с немцами. Не на болотах, не в трясине, не в темной глуши живут ползшие, а на светлых вершинах человеческого достоинства, доблести, героизма.

...Лекхорский ветер. Затих табор. погасли большие костры, сохаты сохон, душисто потрескивают березовые полешки в дожигном очаге Боровули. Снохожае лядичо Николай пригнуло к смуглому лицу матери — и оба спят. Серебряные серьги его матери Катерины отражают песелую, бугуную пляску пламени в очаге.

Глубокой ночью послышался гонимый конит бешено скачущей лошади. То ездок гоним, о котором мечтали два года: вчера Красной Армией освобождены родные места. Вздурожился табер: вьются узлы, наполняются зерном и мукой мешки, ута- сают ненужные теперь костры.

Утром по хорошему обору трогается. Все- лое, говорившее шествие разбегается по черному лесному ушелю, кинит и пере- ливается сном, а иногда поспей и гар- монкой. Дед Харитон, обутий в повоев- кие, много лет бережные поярковые ва- ленки, с неокрытой головой, выдрас- тает

белую бороду поверк полумшубка, становится в голову обою. Черные его руки векового труженика сжимают дубовую рамку, куда являен акт за вечное пользование землей. Далеко птиц через леса и болота, через дуга и речушки, но лед Харитон держит дубовую рамку, как знамя, высоко над непокрытой головой.

Анюшка несет годовалого ребенка — боа они, и мать и сын, раскрасневшись, дохотья их растерпалась на декабрьском ветру, а темные глаза полны солнечного света. Старуха Гарлина стугуая, в мешковинные вместе платка, в лыковых латях, опираясь на палку, крошкя дорогу радостными слезами, идет за обозом. Несколько раз пыталась усидеть на телегу—квнзет голозой, грозится палкой, бурмочет что-то своим беззубым ртом. Собственными ногами хочет она пройти весь великий путь воззращения, испить по капле свое домашнее счастье.

Бросая с белой звездой на абу корова осторожно покатит копытами по суходольной дороге. Ее никто не ведет. Она покорно, доверчиво идет за людьми, которые ее всю жизнь кормили, поили, ласкали. То забегая вперед обоза, то возвращаясь с взглядом и лаской, посылит Велючу, он тоже чувствует дох. Только летворя сидит на телегах: поверт полумех, настрелял, ведей; боченков с соленьем. За телегами по обочине дороги идут люди.

Скрипит новенькое, оббитое серебром седло мажорского генерала под грузным телом Степана Бороваха. Рыжка полукровка тащется на своих ногах по хрустальным лужам дорог. Партизанский батшко мягко покачивается в седле, и цетел его скупатое лицо под черной кубанкой, идут люди, переглядываются с Боровухей, друг с другом, с солдатами, с дубами и соснами, с небом и землей — и тоже цетут.

Встретился на перекрестке прохожий, ничего он не спросил: всё понятно, кто такие люди, куда и откуда они плут, с какими грузом. Люди несли на руках, на палках, в глазах такое великое, самое светлое свое знание — выстраданное, опытное, кровью, выплаканное, вымученное счастье, радость возвращения на родную землю, освещенную от врага.

ПОЛЕСЬЕ, 10 декабря. (По телеграфу из маш. корр.)